

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР КУЛЬТУРНЫХ ДЕСТРУКЦИЙ

¹Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

Развитие информационных технологий, без которых люди справедливо не представляют будущего, тем не менее, сопряжено с неизбежными деструкциями культуры. Подобные крупные инновации в процессах их интеграции в культуру, как неоднократно наблюдалось в историческом прошлом, неизбежно её деформируют, меняют прежнюю структуру. Деструкции (в их словарном значении «нарушений нормальной структуры») являются способом развития культуры, приспособлением её структуры к интегрируемым новациям. К последствиям нежелательных перемен важно быть своевременно подготовленными, чтобы, не впадая в обскурантизм, всё же принять упреждающие или смягчающие меры. В противном случае мы беззаботно и бездумно рискуем расстаться со многим, что придётся впоследствии реставрировать тяжёлыми усилиями.

Ключевые слова: *стадии вовлечения инновации в культуру, деструкции культуры, деструкции технологий оцифровки и всемирной паутины, деструкции этоса науки.*

Keywords: *stages of involving of innovation into culture, the destruction of culture, destruction technologies of digitization and the World Wide Web, the destruction of the ethos of science.*

Стадии вовлеченности инноваций в культуру

Воздействие новых технологий, которые люди придумывают и используют для улучшения своей жизни, на культурные перемены неизменно сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Особенности и даже эпохальные этапы культурного развития во многом связаны именно с ровоцирующими их технологическими новшествами. Процессы формирования и перестройки культур разнообразными инновационными технологиями в истории человечества – дело хоть и всякий раз нестандартное, но в целом вполне обычное. Для первых поколений какие-то нововведения могут быть, конечно, вовсе непривычными и даже шокирующими, но уже представителям следующих поколений эти новации кажутся вполне обычными, надёжно санкционируются в качестве общепринятых методов, норм, идеалов или канонов. В историческом масштабе относительно стабильные (*персистентные*) состояния культур рано или поздно становятся слишком хорошо пригнанными к существующим условиям, слишком жёсткими и потому, увы, хрупкими для новых, как сказал бы Тойнби, «вызовов» истории. Поэтому они то и приходят к концу, расшатываясь и ломаясь, неизбежно срываются во «времена перемен», когда культуры подвергаются деформациям и перестройкам, втягиваясь в нестабильные (*трансмутационные*) состояния. А потом вновь, модифицировав себя ассимиляцией инноваций и приспособившись к переменам, обретают новую стабильность.

Принимаемые новации не могут быть просто, механически или арифметически прибавлены к культурному наследию, – они должны быть в него вживлены, органически вписаны. В этих процессах вживления, интеграции новации неизбежно деформируют культуру, меняют её прежнюю структуру.

Поэтому *деструкции* (в их словарном значении *нарушений нормальной структуры*) являются столь же закономерным и нужным атрибутом культуры, как и её прежняя нормальная структура, а именно, – способом её развития, инспирированным принятием новаций.

И в учёном дискурсе, и в обыденном мнении принятые прежде инновации, как правило, сопрягаются с их позитивной оценкой. По истечению времени, *post factum*, они именуется «достижениями» и «успехами», ассоциируются с несомненным «вкладом в сокровищницу культуры». Иначе, зачем стоило их принимать! Слово же деструкция с его ведущими коннотатами разрушения конструкции, ломки структуры, напротив, несёт с собой негативные смыслы. Как говорится, ломать – не строить! Инновации, действительно, и разрушают привычные старые нормы, и конструируют новые, парадоксально соединяют в себе и деструктивное, и конструктивное начала. Чтобы построить новое, старое, как известно, приходится частично разрушать.

Данная затёртая банальность, однако, парадокса вовсе не снимает. Ибо остаётся не прояснённым вопрос о том, насколько компенсируют полученные приобретения – понесённые утраты, стоила ли игра свеч? Если «игра» уже состоялась и инновация начала своё вхождение и вращение в тело культуры, то какими культурными издержками (деструкциями как нарушениями прежней структуры) за неё ещё придётся заплатить?

Калькуляция эта, однако, дело не простое, а вначале и вовсе почти невозможное. Ибо ни одна из инноваций никогда не предъявляет к культуре сразу полного «счёта»: масштабы вызванных ею культурных деструкций выясняются только со временем и зачастую оказываются гигантскими. Конечно, интересно и даже нужно, предвкушая результаты, подсчитывать дивиденды, которые принесёт с собой инновация. Но ещё важнее вовремя предусмотреть, какие издержки с ней связаны, предвидеть те грядущие деформации культуры, к которой мы привыкли и которую пока считаем нормальной. То, что вначале приходит на тихих кошачьих лапках, впоследствии способно обрести сокрушающую грацию слона, оказавшегося в посудной лавке. Если мы хотим дать корректную и своевременную оценку инновации, то не учитывать эту коварную особенность её поступи – значит совершить грубую ошибку.

Между тем, лишь немногие исследователи обращают внимание на это важное обстоятельство. Среди них – Фелипе Фернандес-Арместо, который в своём насыщенном фактами эмпирическом описании цивилизаций вскользь упоминает о принципиальной противоположности позитивных оценок ранней стадии новых технологий и их же негативных оценок свидетелями более поздней, как говорит автор, «монопольной» их стадии. Массовое земледелие, как и индустриализация, показывает на конкретном материале добросовестный историк, со всеми их недостатками приходят, «так сказать, украдкой», поэтому их и «терпят», а поначалу вообще идеализируют, помещают в «романтическую пасторальную рамку»; и только на «монопольной» стадии эти новации демонстрируют свою деструктивную мощь [16, 262-264].

Странные поступки первых сторонников инновации могли вызвать любопытство, насмешку или осуждение, а иногда даже сочувствие или презрение – когда, например, земледелием были вынуждены заниматься неудачливые охотники. В любом случае эта странность первого впечатления от новшества, однако, на протяжении почти всей истории человечества считалась несущественной: первая реакция на новинку состояла в том, что ей не придавали особого значения. Первоначальная эта оценка кардинально изменилась только недавно, и особенно сильно на протяжении последних десятилетий, когда всё новое

стало для людей, напротив, неудержимо притягательным. В прошлые периоды истории отстранённость от инновации сменялась эмоциональной позитивной вовлечённостью в новинку медленно и неспешно, сегодня былая отстранённость растаяла без следа. Быть «в авангарде» современности – значит незамедлительно, «с колёс» подхватить и освоить инновацию. Успешен тот, кто это успел. Скорость прироста инноваций со второй половины XX века, как показывают данные статистики патентов, стремительно, экспоненциально возрастает. Но тем опаснее стали и те неизбежные деструкции культуры, которые сопряжены с инновациями: у нас просто стало гораздо меньше времени, чтобы их предусмотреть и смягчить.

Общая картина вовлечённости инноваций в культуру, полагаю, схематически может быть представлена в виде трёх стадий.

На первой деформирующая культуру сила инновации незаметна, новшество полагается уместным дополнением традиционного (или даже, как сейчас, его взыскуемым развитием) и способствует росту культуры – например, повышению жизненного уровня людей или их эстетическому развитию. М. Хайдеггер правильно подметил, что новое приходит к нам на тихих «голубиных лапках», но лучше назвать этот этап стадией «кошачьих (бархатных) лапок». Ибо поступь их бесшумна, острые когти деструкции до поры до времени скрыты, а сами зверьки ласковы, полезны в ловле нехороших мышей и кажутся вполне безобидными. Именно таковы инновации на этой стадии.

Вторая стадия характерна неожиданным и мощным проявлением того, что было скрыто на первой: конфликтом традиционного с новым, которое придаёт культуре иные формы, нарушает и деформирует нормальную структуру, осуществляет деструкцию культуры. Инновации «показывают когти»: начинается вытеснение некоторых мешающих им традиций, жизненный уровень людей или эстетические потребности зачастую, как показывает история культуры, снижаются. Возникает, как отмечает Ф. Фернандес-Арместо, попытка «монополизации» новшества, его претензии на тоталитарность, захвата всей культурной территории и устранения оппонентов. Назовём этот этап стадией «кукушонка»: теперь инновации пытаются выкинуть из общего и недавно чужого для них «гнезда культуры» всех мешающих ему прежних его обитателей.

Конечно, кукушонку это удаётся только отчасти, далеко не полностью. Но какой-то урон, отказ от некоторых традиций, норм и канонов – неизбежен. Культура поступается чем-то, чтобы сберечь более ценное своё достояние при интеграции в себя дерзкой и нужной новации. Завершением этих процессов является третий этап поиска консенсуса, на котором инновация усмиряется, входит в новый баланс с традиционным наследием, и тогда возникает новая стабильность. Его девизом является вечно актуальный, замечательный призыв известного с детства героя мультфильмов: ребята, давайте жить дружно!

В целом, стадии «бархатных лапок», «кукушонка» и «кота Леопольда» обозначают суть этапов перехода от одного персистентного состояния культуры – к другому через состояние трансмутационное. Или, более строго, на первой стадии новация выручает и не слишком заметна, на второй ею злоупотребляют, а на третьей она становится традицией, вписанной в новую гармонию и стабильность. От наших способностей не поддаться слепой увлечённости модной инновацией, вовремя разглядеть таящиеся в ней деструктивные для культуры начала во многом зависят масштабы и последствия тех нежелательных перемен, к которым мы могли быть подготовлены, чтобы принять упреждающие или смягчающие меры. В

этом ракурсе мы и рассмотрим лидирующие в современном мире информационные технологии.

Идеологии стадий вовлечения информационных технологий в культуру

Первые несколько десятилетий, примерно полвека после появления телевидения и неуклюжих пионерских ЭВМ, информационные технологии оставались на стадии «бархатных лапок». Никаких деструкций в нормальной структуре культуры они открыто не провоцировали. Напротив, аналогично распространению радиовещания, начавшемуся к 20 годам XX века, телевизионные технологии стали вполне уместным и желательным культурным дополнением. Они были продуктивно использованы и восторженно приняты общественным мнением. Первые компьютеры предназначались для военных, а затем оказалось, что они нужны и полезны всем. Таким же образом, в качестве замечательного и щедрого очередного гуманитарного подарка учёных, в 90-х годах люди искренне приветствовали появление интернета и мобильной связи. Но уже тогда из бархатных лапок стали всё чаще вылезать ранее втянутые когти.

То, что произошло в результате утверждения новой медиальной культуры радио, телевидения и всемирной сети, Б.В. Марков, например, в начале XXI века уже полагает закатом «эры гуманизма», появлением нового, пост-гуманистического мира, в котором книга и образование уже не в силах обеспечить сплочения общества [7, 116]. Автор относит расцвет «национального гуманизма» к предыдущему «довоенному столетию», когда филологическая элита и учителя выполняли благородную и востребованную миссию ознакомления современников с важнейшими посланиями истории, в нынешней же «апокалиптической эпохе» обрели «невиданную власть» кибернетические и электронные формы симуляции и иллюзионизма [7, 115, 124].

В этом приведенном примере для нас сейчас важны не оценочные суждения исследователя (у других авторов они иные, или отличен сам ракурс рассмотрения информационных технологий), а попытка сопоставления медиальной революции – с традициями религии, моделями гуманизма или метафизики: все они, что теперь несомненно, подвергаются ею некоторой существенной деструкции. Былая эйфория прекраснотных ожиданий, господствующая на раннем этапе информационных инноваций, позже уступила место осторожным оценкам и учётам рисков: в новом технологическом «завете» главным сценарием, согласно некоторым высказываемым опасениям, увы, может стать даже «апокалипсис».

Представители же философии постмодернизма создали вполне эффективную идеологию стадии «кукушонка»: ими без обиняков парадоксально объявлена «нормальной» именно «деконструкция». Нормальных структур культуры в этой идеологии вообще не существует, они непременно «децентрированы» и превращены в запутанные «ризомы». Такая основополагающая норма науки, как истина, здесь решительно отвергнута, считается химерой ангажированного догмой больного воображения. «Грамматология» Ж. Деррида прямо претендует на опровержение всякого «логоцентризма», слово подвергнуто им энергичному остракизму, а наиболее общим понятием семиотики полагается *gramme* – «зрительные очертания» чего угодно, которыми и образовано «письмо». Грамматология, по замыслу, объёмлет любую «про-грамму», любую «графию». Становление «письма» сопряжено с «концом книги», которая «глубоко чужда» смыслу письма, а потому, согласно автору, «необходимо» насилие и разрушение книги как энциклопедического оплота логоцентризма [4, 133].

Подобные умозрительные и на первый взгляд нестрогие связанные идеи образуют, тем не менее,

совершенную идеологическую завесу, которая оправдывает и поощряет любые претензии информационных технологий (вплоть до заведомого оправдания любых действий на их основе) и которая одновременно успешно скрывает реальные риски деструктивных их воздействий на общество и культуру. Ею дана индульгенция, в которой прощены все грехи и огрехи медиальных технологий – как прошлые, так и будущие. Кроме поощрения «да здравствует!» и призыва «делай, что хочешь, разрушай старое!» данная идеология в своём содержании не содержит каких-либо внятных регуляторов и ограничений. Но так острые когти несдерживаемой мощи технологии способствуют не только тому, чтобы взобраться повыше на древо культуры, но также, увы, способны основательно подпортить привычный, вполне пригодный и нужный культурный интерьер.

Среди многих изобретений и открытий, приведших к современным информационным технологиям, обратим внимание на «оцифровку» и «всемирную сеть», влияние которых на культурную перестройку первостепенно.

Культурные деструкции технологий оцифровки

В истории письменности цифровое кодирование информации является столь же глубокой новацией, как и создание алфавита. Переход к «цифре» завершает плодотворнейшую идею алфавита: спустя три с половиной тысячи лет после финикийцев найдена его совершенная и завершённая форма. В новом алфавите букв всего две, и он пригоден не только для всякого естественного языка, но и для любого искусственного, будь то математика, азбука Морзе или эсперанто. Им даже можно описать то, что говорится на языках жестов, мимики или эмоций. Оцифровать можно любые звуки и знаки, любое изображение. Цифровой код – это алфавит *всех* языков, универсальный алфавит любых знаковых систем, универсальный способ кодирования любой информации.

Найденная замечательная технология всеобщего алфавита и универсального кодирования информации незамедлительно стала обрастать, как водится, идеологической «обёрткой». Начиная от Норберта Винера, который искренне считал, что прежние понятия материи и энергии вполне могут быть «подведены» под понятие информации, ей то и дело старались придать онтологические смыслы. В паранаучном знании широко распространились её трактовки в качестве космического «информационного поля» и носителя «тонких миров», в ангажированной социологии сложился популярный концепт «информационного общества». В постмодернистской идеологии универсальность технологии цифрового кодирования была сопряжена со становлением особого ключевого концепта «письма» (которое получило здесь резко расширительную трактовку – как неременной предпосылки всякого исходного «различания», условия всякой «дискурсивности» и «артикуляции»), с пониманием мира как «текста».

Встроить новую технологию в картину мира – дело, конечно, нужное, без добротной семантической интерпретации новация останется онтологически инородной. Полезно поначалу и чуть преувеличить её значение – хотя бы для того, чтобы ею заинтересовать. Стоит ли, однако, провоцировать ломку устоявшейся картины мира ради этой новации? Если она и впрямь столь радикальна, то смена картины мира, то есть научная революция неизбежна. Но как редко это в действительности, вопреки идеологическим призывам, происходит! Научная картина мира складывается изобретательным, кропотливым и квалифицированным трудом многих поколений. Она – достояние очень ценное, а потому оправданно консервативное и для пылких наскоков неприступное. Если «письмо» далеко не сводится к

письменности, а и впрямь вполне вольготно проживает за её пределами, к примеру, в речи, танце или частушке, то инфляция письменности – не за горами. Но в современной философии науки ещё от Э. Гуссерля оправданно и прочно утвердилось общепризнанное представление о том, что именно наличие письменности, созданной на основе естественных и искусственных языков (прежде всего, математики) послужило предпосылкой возможности построения идеальных объектов науки. Нет письменности – нет науки, а вот наличие «письма», понимаемого по-постмодернистски, может быть свободным и от письменности, и от науки.

Известно, что технологии письменности возникли вовсе не для того, чтобы люди смогли сконструировать науку с её идеальными объектами. Им тогда нужно было посчитать коз, рабов или объёмы работы, подытожить результаты, передать важное сообщение, транслировать распоряжение так, чтобы не было ни малейших его, как теперь мы симптоматически говорим, «разночтений» (послание ведь ещё уметь прочитать надобно). Подавляющее большинство всех древнейших записей – хозяйственного свойства. Наши современники также уверены, что письменность нужна для согласованности совместных действий: это предпочтительнее, нежели бы «каждый делал что во что горазд», – пишет Михаил Веллер. Но он перечисляет эту изначальную функцию письма последней, тогда как первой называет накопление суммы знаний, а вторым пунктом указывает их распространение и маневренность [2, 269].

Подобное изменение оценки приоритета разных ролей письменности показательное и существенно: исходная древнейшая функция теперь не играет главной роли, на вторые роли отеснены письменные технологии трансляции знаний, а на первый план вышло письменное накопление информации. Мир изменился. Корпус знания стал слишком обширен, чтобы удержать его в уме и изустно передать. Его, прежде всего, нужно надёжно зафиксировать, «пришпилить» знаками письма с тем, чтобы уже потом пытаться эти знания передать или координировать ими совместные действия.

Конкуренцию способов письма и хранения информации в последние десятилетия с оглушающим и заслуженным успехом выиграли цифровые технологии. Глиняные таблички шумеров, составляющие единственную книгу, когда то занимали несколько вместительных ивовых корзин, которых хранились в сараях, печатные бумажные книги до недавнего времени размещались на стеллажах, заполняли миллионы книжных шкафов и тысячи библиотек. Теперь библиотека помещается на крошечной флешке или вообще «на облаках». «Всё бумажное – на макулатуру или в топку!» – так зачастую мыслят и поступают люди, увлечённые современной монополией цифровых технологий.

Всего, конечно, не сожгут, но и читать скоро почти перестанут – ибо цифра, кодирующая письменность, с тем же успехом кодирует звук, что и делается в уже появившихся голосовых компьютерах. Не нужно писать, можно диктовать; не нужно читать, можно слушать. Любые знаки и всякие иероглифы выражены цифрой, которая вот-вот свободно заговорит. Голосовые компьютеры, скорее всего, сделают чтение и письмо редким занятием, для большинства людей обременительным и излишним. Алфавиты скоро станут лишь тайными и странными знаками, имеющими скрытое и промежуточное техническое значение, некими кодами и шифрами, которыми подспудно и автоматически обеспечивается передача информации. Разве есть какая-то необходимость простому пользователю компьютера знать языки программирования? На заре компьютеризации нас ещё пытались вразумлять устрашающим Алголом, теперь эти времена безвозвратно минули. Письмо стремительно превращается в эзотерику XXI века, и

вскоре только небольшие секты чудаковатых грамматиков будут проводить свои экзотические жизни, разглядывая странные для всех остальных людей закорючки и значки.

Примерно так сейчас обстоят дела с математическими символами топологии или теории множеств. Калькуляторы уже вытеснили таблицу умножения и практики устного счёта, а когда они вдобавок заговорят и смогут слышать пользователя, арифметика для него, возможно, вновь, как в древности и в средневековье, станет сакральной. От подсчётов и чтения с такой же лёгкостью нас избавляют говорящие весы и термометры. После искусственных языков (таких, как математика) на очереди вытеснения из практик обыденного пользования – письменность языков естественных. В общем, вполне возможно, что наступает последний век письма и всеобщей грамотности.

Впрочем, почти во все времена грамотность была привилегией и обузой лишь узкого и тонкого слоя социальных страт, тогда как для большинства людей она была недоступна, да и не нужна. Историки школы Анналов, например, документально показывают, что если в X веке редкое умение читать книгу приветствовалось и полагалось удивительным дарованием, то XIII век для Европы уже характерен первым перепроизводством людей умственного труда. Также и В.Л. Рабинович увлекательно повествует, как в то время происходила девальвация слова и буквы: от буквы в ореоле славы как письменного отвердения слова божьего – к слову как ярлыку или чучелу, к отрицанию книг и снятию средневековой учёности в совершенной радости бессловесных поступков [10, 18-25, 95-118, 437-470]. К этому можно добавить, что «правильное» слово в «Примерах» («*Exempla*») были широко распространены среди «простецов» в качестве Библии повседневной жизни с V по XV век) непременно обращено к жизненным ситуациям и в этом смысле наглядно. Жак де Витри, один из известнейших авторов «Примеров», использует глагол *audivi* несравненно чаще, чем *legere*: рассматривая ситуации, важно *вслушиваться* в жизнь, а не сосредоточиться на письменной букве, не стараться *считывать* текст с листа.

Х.Л. Борхес пишет эссе «О культе книг», в котором намечает с дюжину историко-культурных фактов, разительно отличных оценками письма и чтения. Прежде чем Сервантес стал читать клочки бумаги на улице (этим занятием до недавнего времени увлекались и мы), недоверие к письменности, например, открыто демонстрировали Пифагор или через несколько столетий Климент Александрийский.

«Видеть глазами», согласно Экклезиасту, «лучше», чем «бродить душою». Многогранная рефлексия, тяготы сомнений и сложность интеллектуального поиска здесь (насколько я понял) лишь второстепенны, слова мало значат в сравнении с восприятием, чувством и верой, которым Истина и открывается. Нынешней атаке на письменность, дискредитации статуса вербального знания, таким образом, нетрудно подыскать многие предтечи и прецеденты.

В начале XX века вопреки столетней традиции научного языкознания Фердинанд де Соссюр поставил под сомнение реальность слова как основной категории языка. С тех пор дискредитация слова (его замена фонемой, морфемой, синтагмой, контекстом и прочими элементами языка за пределом слова, вплоть до прямого отвержения толковых словарей и лексиконов) стало, как пишет Р.А. Будагов, устойчивым «модным увлечением» лингвистов [1, 7]. Ладно бы, только учёные языковеды чудили – они, в конце концов, для того и предназначены, чтобы новое искать да вслушиваться в то как язык живёт и растёт, – но невнимательность к слову носителей языка и оскудение лексиконов стало всеобщей приметой нашего времени. Бюрократия превращает язык в неуклюжего косноязычного монстра, от которого только какой-

нибудь пакости и подлости ждать остаётся. Отойдя на безопасное от него расстояние, соблазнительно, впрочем, превратить его в посмешище – что в реальности и происходит. Только вот смеёмся мы над ним, используя лексику хотя и другую, но, увы, тоже убогую. Протестные настроения выплёскиваются не возвращением к полноценному языку, а созданием «прикольных» сленгов. Использование слов-паразитов во многих субкультурах стало признаком хорошего тона. Люди, которые объявили себя, с нашего молчаливого согласия, носителями культуры, «бомондом» для выражения возвышенных чувств то и дело за недостатком слов также обращаются, подобно подросткам или криминальным маргиналам, к эмоциональной экспрессии и ненормативной лексике. Они столь прочно вросли в сочинения даже хороших писателей, что без эмоционального и сочного словца и читать теперь стало как-то скучновато. Атака на слово, в целом, оказалась успешной: частотные словари обыденной речи съёжились, речь обросла паразитами и прочими приёмами, отчасти компенсирующими её вербальное оскудение.

Но чтение, чем текст не приправляй – солёным словом или экспрессией, всё же центрировано на его величестве слове. Дискредитация слова, конечно, привела к переменам отношения к чтению. Во все времена умеющие читать делились на тех, кто это любил делать, и на тех, кто процедуру чтения просто вынужден был терпеть (так называемых «слабых читателей»). В наше время на протяжении двух-трёх поколений резко уменьшилось количество первых и, соответственно, увеличилось число вторых. То и дело люди говорят, что им что-то, например, нужно для их работы, «пришлось прочитать». Эта фраза ясно демонстрирует установленный многими социологами охвативший мир феномен «вторичной безграмотности»: когда сам процесс чтения вызывает негативные эмоции и требует волевых усилий. Не менее 40% обученных грамотности людей читают лишь в силу необходимости – скажем, что-то новое по своей специальности (иначе отстанешь, да и начальство достаёт), этикетки товаров, ориентирующие в супермаркете надписи или дорожные указатели. Медики даже трактуют половину подобных случаев в качестве болезни – так называемой «дезлексии», коей страдает пятая часть населения индустриальных стран и которая выражается в нарушении процессов чтения и норм письма. В Канаде «функционально неграмотных» (термин ЮНЕСКО) около четверти населения, десятая часть из которых имеет университетский диплом. Во многих странах мира, включая США, Россию или Нидерланды разработаны программы реанимации читательского спроса, прозорливо сопрягаемые с защитой национальных ценностей и с национальной безопасностью.

Распространение голосовых компьютеров, однако, произведёт обратный эффект: в ближайшем будущем нас, скорее всего, ждёт повальная эпидемия дезлексии, а вторичная и функциональная безграмотность станут нормой жизни. И только немногие маргиналы будут продолжать, разбирая и создавая сплетения закорючек, создавать нужные всем инновации и так обеспечивать развитие культуры. А ведь всё начиналось с безобидных, казалось бы, комиксов с картинками и минимумом текста или с дайджестов, пользование которыми люди оправдывали деловой занятостью и так заодно прикрывали своё отвращение к чтению.

Умение писать ещё недавно воплощалось в обыденной распространённости эпистолярного жанра. Письма писали все, даже малограмотные. Переписка литератора или учёного могла составить целые тома. Среди шедевров мировой литературы – романы в письмах, подобные «Опасным связям» Шодерло де Лакло. Теперь роман в письмах может быть написан разве что как «ремейк», для эпатажа, скрытой иронии

или ностальгии. Эпистолярный жанр утратил часть своей популярности уже с появлением радиосвязи и стационарных телефонов: письма писать обременительнее, да и идут они дольше (хотя всё же тогда обходились дешевле, особенно иногородние). Мобильная связь, скайп и электронная почта отменили последние доводы в пользу традиционных писем, за исключением учёта режима строгой секретности, требуемого для некоторых депеш. Письменные поздравления или приглашения приобрели несомненный антураж и символичность ритуала, чего-то условно принятого всеми, но скорее привлекающего красивой архаикой, чем действительно нужного. Ныне эпистолярный жанр по настоящему сохранился (кроме как у шифровальщиков и «секретчиков») ещё, пожалуй, лишь в качестве единственной маргинальной особенности: в необходимости посылать «малявы». Хотя и в этой субкультуре желательнее и проще, кто бы сомневался, «перетереть» актуальную проблематику «на сходняке или стрелке».

Возможно, в более отдалённом будущем мы разучимся не только писать и читать, но и говорить – когда компьютеры смогут непосредственно, без всяких слов и букв, считывать наши мысли. Зачем слова, если команду можно отдать мысленно: именно на этом принципе основываются небезуспешные современные технологии в сфере, например, киберпротезирования.

Заметной уже сегодня девальвации слова, письма и чтения, как ни странно и ни грустно, способствуют, помимо технологий оцифровки (и ещё в большей мере, чем они) технологии всемирной паутины.

Культурные деструкции технологий всемирной паутины

Сеть принципиально *мультимедийна*: изображение и звук, музыка и текст, формулы, живая речь и эмоции в ней одинаково приняты и дополняют друг друга. Ибо, как уже говорилось, цифровому кодированию подвластно всё. Сеть также принципиально *открыта*, и в идеале *содержит всю информацию*, стремление к чему настойчиво декларируется. Эта её важнейшая черта, собственно, и зафиксирована в самом именовании концепта «информационных технологий». Оба эти *принципа* всемирной паутины (открытости информации, а также её мультимедийной презентации), бесспорно, являются замечательными достижениями культуры. Но как они повлияют на перестройку культуры, какие деструкции и издержки они уже привнесли?

Начнём с того, что открытость сети отнюдь не всегда используется для того, чтобы получить информацию или ею поделиться. По неведению или умыслу каждый человек может вывесить в неё вовсе не то, что информирует, а то, что, напротив, дезинформирует. Поисковые системы, браузеры открывают нам обширные номенклатуры сайтов, в которых, например, проверенные факты, добротные теории и конкурирующие научные гипотезы безмятежно соседствуют со сведениями непроверенными и сомнительными, с сырыми предположениями квазинаучного толка или вообще с параноическими фантазиями. Чего же мы хотим – действительно информировать неискущённого читателя, или увлечь его красивой фантазией и направить по ложному следу? Один из способов сокрытия информации – «стеганография» – как раз и состоит в том, чтобы перемешать искомое с ворохом иных сведений [3, 84].

С технической стороны, конечно, и сведения наук, и паранаука, и бред шизотимика – всё это в равной мере есть информация, «весьящая» то или иное количество байтов. После К. Шеннона и У. Уивера (1949) нужный количественный подход к информации парадоксальным образом привёл к игнорированию её семантических аспектов. Восторженно встреченный подобный «информационный взрыв», согласно

Жану Бодрийяру, ведёт к «смерти знака», к «исчезновению смыслов»: способность означать «тускнеет», знаки начинают означать сами себя, становятся «симулякрами». Забвение семантических аспектов информации мстит засильем симуляций и появлением «гиперреальности», которая имитирует и подменяет реальность.

В итоге дезинформации как будто бы и вовсе нет, и даже упоминать о ней продвинутому адепту информационных технологий не пристало. А если не ограничиваться технической стороной, разве поиск всякого нужного человечеству ответа (то есть информации) не сопряжён с неизбежными ошибками, заблуждениями или попросту ложью? И не следует ли поэтому их без обиняков квалифицировать именно в качестве дезинформации – то ли умышленно вводящей в обман, то ли искажающей правильную картину по неведению или недоразумению?

Больше того, нередко подлинные намерения пользователя сети вообще далеки от задач информирования, а цель его активности в сети состоит лишь в том, чтобы добиться желательной и эффективной манипуляции другими людьми. И зачастую тогда именно дезинформация становится сознательно применяемым средством для достижения цели. Фрэнк Уэбстер (который написал нужную и честную книгу о пользе и вреде понятия «информационного общества») присоединяется к позиции Теодора Розака относительно неправомерности учёта лишь количественной стороны информации, в то время как её качество остаётся вне поля зрения. Нельзя, справедливо считают Розак и Уэбстер, оставаться безразличными к тому, что передаём – высокую истину или грязную непристойность, банальность или глубокое учение. А то в нашей сети «свалили всё в один горшок и уверяют, что его содержимое – эликсир жизни, а не малосъедобное варево» [15, 33].

Преимущество введения гиперреальности литераторы и культурологи какое-то время находили в возможностях появления гипертекстов, насыщенных обилием гиперссылок. Конфигурация гиперсвязей, по замыслу, и была призвана задавать смыслообразующую функцию всего произведения, которая была изъята из обычного, «линейного» текста. Литераторы (такие, как Милорад Павич) стали экспериментировать с возможностями гипертекстуальных романов, литературоведы – искать их предтечи (у Томаса Мэлори, Марселя Пруста или в сказках о «тысяча и одной ночи»).

Роман Лейбов, один из первых русскоязычных авторов гипертекстуального романа, однако, говорит: «Когда я эту ерунду придумал, я уже знал, что читабельного текста не получится. Хотелось ткнуть носом в результат воплощения антитекстовой утопии» [6, 47]. Сергей Корнев, который цитирует это высказывание, приводит также мнение В. Барабанова: «Гипертекст поначалу казался шагом вперёд по отношению к «линейному» тексту; сейчас становится ясно, что это просто его деградация» [там же]. Оба цитируемые высказывания приведены автором для подтверждения собственной позиции. Согласно ей, во-первых, гипертекст «с винегретом» гиперссылок является «самодеконструирующимся» текстом (что плохо). Во-вторых, именно в интернете завершается постмодерн в литературе, и «по-настоящему выполняются пункты постмодернистской программы». За что интернет, подытоживает его оценку автор, ожидает в будущем как «Освенцим Гуттенберга» свой «нюренбергский процесс» [6, 31, 41-42].

Не менее критичен и Михаил Ямпольский, который считает интернет «архивом неселекционированных материалов», непроверенных и быстро устаревающих – то есть, «колоссальной свалкой сегодняшней истории», где нет нужных различий между «существенным и хламом» [18, 22,25].

Его господство, заключает автор, «почти неизбежно повлечёт за собой всеобщий упадок культурного нарратива» [там же, с.27].

В общем, пространство сети заполнено прихотливой подвижной мозаикой, где истина и ложь, информация и дезинформация, разные правды, кривды и техники манипуляций причудливо перепутаны и перемешаны. Распространённое его сравнение с мусорной кучей не слишком лестно, но ведь, по крайней мере, и в куче этой можно отыскать нечто полезное.

Обратимся теперь к мультимедийным возможностям сети. Мультимедийными техниками действительно открывается способы презентации информации, которые близки к совершенству. Как считают Эрик Шмидт (председатель совета директоров компании Google) и Джерад Коэн (директор Google Ideas), «он-лайн впечатления» будут сравнимы по реалистичности с самой жизнью, смогут создать «полный эффект присутствия» [17, 9]. Информация уже теперь изящно упаковывается, ловко подана в адресно подобранной «обёртке», позитивно воспринимаемой адресатом. Пока обращение к интеллекту или к чувству адресатов осуществляется через зрение и слух. Мы уже научились строить трёхмерные изображения и добились качества воспроизведения звука, неотличимого от реального, живого звука. Возможно, в близкой перспективе технологиями будет интенсивно осваиваться обонятельная сторона образов. Когда же появятся осязательные и вкусовые мультимедийные имитаторы, информационный продукт вообще приобретёт опасную убедительность и достоверность реальной вещи.

Опасную, – потому что вещи всё же следует уметь с надёжной простотой безошибочно дистанцировать от их симуляций. Чтобы переделать мир согласно своей мечте, её необходимо уметь от него отличать – иначе вообще не понять, сбылась она или нет. Но уже с началом культуры человек окутал вещи покрывалом семиосферы, а теперь адепты информационных технологий придают виртуальной оболочке столь высокий статус, что всерьёз говорят о «двух цивилизациях», материальной и виртуальной [17, 440]. Чем совершеннее информационный продукт, тем с большей лёгкостью он способен подменить собой представляемую и имитируемую им реальность. Сегодня привлекательная упаковка способна наглухо скрыть под собой то, что за ней упрятано. Опутанные паутиной симуляций, приглаженные, подкрашенные и напомаженные, вещи едва способны донести до нас свой реальный вид. Их голос заглушён звуками ушлых коробейников, зазывал и лжепророков, их настоящий запах мы перебиваем ароматизирующими отдушками и дезодорантами. Отчасти без этого не обойтись – ведь и товар продать надобно, и людей увлечь. Иногда это оправдано в воспитательных или гигиенических целях, или же из соображений эстетики. Но кто-то ведь и правду знать должен! Ищущий же правду человек в настоящее время не может не обращаться к всемирной паутине.

А там, как в жизни, реальные события старательно превращаются в спектакль, в навязчивый флешмоб. Обёртка, упаковка и менеджмент становятся (как об этом предусмотрительно помалкивают менеджеры сети, а хорошо пишут чаще, к сожалению, не профессиональные философы, а литераторы – такие, например, как Виктор Пелевин или Макс Кантор) важнее товара. Ценятся не поступки, не убеждения, а их удачные презентации. Аналитика изымается из общего пользования и её незаметные нити теперь сосредоточиваются в основном в руках кукловодов. Рефлексии избегают, ибо в театре жизни на неё нет времени. Трюк и блеф стали полезнее кооперативных «игр» с открытыми картами, риск и дерзость стали много престижнее кропотливого труда, декорации и дизайн стали важнее строительства. Осуждаемая

прежде «показуха» ныне уважительно именуется PR-технологиями независимо от того, какой это пиар, «белый» ли «чёрный», – ибо приоритетна известность, узнаваемость. Скромность теперь не может «украсить» человека, она – только путь к неизвестности. «Быть знаменитым» не «некрасиво», а очень даже красиво. И нисколько это не «позорно», а, наоборот, хорошо и лестно. Чтобы добраться до правды пастернаковских строк и мудрости традиционной народной добродетели, как видим, нужно перевернуть многие фактические гуманитарные приоритеты информационных технологий на оценки противоположные. Их, увы, приходится насильно выворачивать наизнанку, истиной вверх.

Если деструктивные возможности неприкрытой напористости «сетевых» манипуляций политического свойства последнее время всё же стали предметом обеспокоенности и анализа [17], то о регуляции всех других сфер интернета (за редкими исключениями типа педофилии или конструирования бомб) речи не идёт. Ведь, согласно замыслу, всемирная сеть свободна и открыта. Какая уж тут регламентация! Так, мол, и до тоталитарной цензуры опуститься можно. Всякий, кто хочет, может в сеть что угодно выложить или взять оттуда – вот всем и хорошо. Ну и кладут, кто что может и хочет. Пользуются правом на самовыражение.

Игнорируется, однако, вопрос о том, следует ли предоставлять право на публичное самовыражение тому, кому и выражать то нечего: скажем, личностям, которые не обременены знаниями или тем, у кого слуха музыкального нет? Но публичное караоке (в сети ли, в кафе или на ночной площади курорта) стало признанным занятием, как и журналистские свежеприобретённые практики тиражировать мнения некомпетентных людей или показывать языки и корчить рожи на телеэкранах и мониторах. Что глупости остаётся, как не притворяться: лишь посредством кривляний невежественная посредственность только и способна имитировать свою оригинальность, самодостаточность и независимость. Если право на самовыражение действительно является безусловным, и любой имеет на это право, то уж не обессудьте принять человека со всеми его ужимками и «почёсываниями», о чём предупреждал ещё Ф.М. Достоевский. И их можно было бы, в конце концов, перетерпеть, – и худшее бывало, ведь не плёткой всё же, и хлеб не отнимают, – но скоморохи не производят смыслов и знаний, в которых отчаянно нуждается стремительно изменяющаяся культура. Словом, зачастую то, что зачастую «выкладывают» для зрителя, правильнее отправлять бы сразу, как младенцы, – в памперсы.

Но ещё быстрее и гуще, чем декораторы и паяцы, сеть оккупировали коммерсанты, – благо возможностей для недобросовестной рекламы или компрометации конкурентов здесь предостаточно. Сеть действительно является смесью архива с виртуальным универсамом [17, 22], полем глобального маркетинга [3, 8]. «Информационный колпак», согласно Герберту Шиллеру, успешно зомбирует психику пользователей сети, ориентируя её на главную сакралию – на потребление [3, 208]. А как посредникам удобно – сайт открыл, и продавай то, чего в глаза не видел. Оседлали они здесь всё, и даже не самый ходовой «товар», научную книжку становится всё затруднительнее получить без хлопот и вымогательств.

Не менее энергично и систематически, но тихо и скрытно мультимедийные сети освоили также разведчики: о грандиозных масштабах кибершпионажа и раньше догадаться было нетрудно (кто же в здравом уме такие замечательные возможности сбора разведанных упустит), но Эдвард Слоуден их продемонстрировал доказательно и открыто.

В итоге пользователи всего мира смиренно наблюдают устойчивую тенденцию изгаживания работы

всемирной паутины коммерческими пауками, PR-технологиями, воинствующим невежеством, тайной бесцеремонностью разведслужб и вялостью бюрократии, не способной всему этому противостоять.

Информационные технологии ныне действительно лидируют и несут собой глубокие изменения, блага и беды. Тем пристальнее и взыскательнее должна быть наша оценка их недостатков и культурных последствий. Способны ли мы в действительности контролировать неизбежные перемены, как это полагают и на что надеются ведущие менеджеры и идеологи сети?

Полагаю, сейчас информационные технологии вошли в стадию «кукушонка», когда из «гнезда» культуры легко выбрасывается многое, что следовало бы сберечь и развивать. Мы беззаботно и бездумно расстаёмся с тем, что придётся впоследствии реставрировать тяжёлыми усилиями. Информационные инновации увлекли нас настолько, что мы не замечаем чрезмерностей и искривлений в практике их применения, равнодушны ко многим и частым злоупотреблениям.

Увлечённые возможностями мультимедийных средств, мы готовим себя к забвению (или существенному ограничению распространения) письменности, к началу краха слова. Старательные бюрократы насаждают так называемые «мультимедийные комплексы» в учебный процесс. Образы и эмоции вытесняют понятия и аналитику, строгая однозначность терминов воспринимается как обуза. Люди XVI века гораздо свободнее нас выражали свои эмоции, и недавняя наша манера поведения показалась бы им, полагаю, похожей на ту, какую мы приписываем роботам. Сейчас же мы быстро возвращаемся к «нормальному» состоянию аффективной непосредственности, не отягощённой когнитивной рефлексией. Барби и мачо, судя по реальному акцентированию содержаний мультимедийных программ, всё более настойчиво и успешно задают образцы телесных стандартов и поведенческих реакций.

Жалко также, что общение всё больше усекается виртуальными формами: он-лайн интеракция заменяет реальную встречу, связаться по скайпу или мобильному телефону зачастую предпочтительнее, чем увидеться, – и даже независимо от расстояний или занятости. Мы боимся признаться, что избегаем друг друга (за, понятно, немногими исключениями), а при контактах с другими зачастую предпочитаем оставаться анонимными.

Информацию мы превратили в товар, и так её отчасти унизили, ибо забыли, что в самые важные моменты жизни она – нечто несравненно больше чем товар. Активно развивается понятие и юрисдикция «интеллектуальной собственности». За использование патентов, например, нужно платить, что отчасти является справедливым – ведь всякий труд должен быть оплачен. Мало кто осведомлён, однако, о двух вещах. Во-первых, 97% патентов принадлежат так называемым «развитым странам», что не оставляет никаких шансов другим странам достичь их уровня жизни даже при достижении технологического уровня: ведь за патенты с их хозяевами придётся расплатиться. Второе обстоятельство состоит, однако, в том, что патенты и начали то регистрировать те самые страны, которые потом объявили себя «развитыми», но тысячелетиями до этого технологические инновации никто не патентовал, и они более или менее беспрепятственно распространялись. Сколько страны Европы или Америки должны были бы уплатить странам Средней Азии за использование изобретённого там колеса? Но попробуйте воспользоваться без лицензии штопором, застёжкой-молнией или песней, в которой говорится о «двух кусочках колбаски», которые «у меня лежали на столе»!

Остановимся далее на некоторых возможных деструкциях и рисках, сопряжённых с

информационными технологиями, применительно к сфере техники и гуманитарным сторонам науки.

Информационные технологии как фактор деструкций техники и науки

Самым большим риском в сфере техники ныне является принятие ошибочных управленческих решений вследствие неверного программирования или его сбоев. Наш комфорт, наша безопасность и даже жизни, конечно, всегда в той или иной мере зависели от техники, но теперь эта зависимость резко возросла. И дело даже не в том, что технические устройства теперь обступили нас со всех сторон, – ибо вместе с их проникновением во всё новые области росла также и их надёжность. На них действительно можно спокойно полагаться. Но в них теперь информационными технологиями встроены приборы принципиально нового типа.

Раньше люди располагали приборами двух типов. Одни обостряли естественные, физиологические возможности восприятия человека – таковы, например, микроскоп или телескоп. Приборы другого типа устроены так, чтобы преобразовывать сигналы, которые вообще не воспринимаются органами чувств человека, а не только слабые, – в непосредственно доступные нашим ощущениям. Так работает, например, компас, который позволяет нам видеть направление магнитного поля, непосредственно органами чувств не воспринимаемое.

Теперь же мы располагаем также приборами третьего типа, помогающими управлять: ими технические устройства управляются без непосредственного вмешательства человека. Недавняя катастрофа технически исправной российской ракеты была вызвана ошибочными командами навигационных приборов. Микрочипу, регулирующему температуру в сауне, приходится доверять столь же полно, как альпинист полагается на верёвку. Но микросхему, в отличие от верёвки, на прочность не подёргаешь и на глазок не прикинешь. А ведь деваться то – некуда, приходится доверять. У нас теперь нет выбора – доверять приборам часть функций управления, от которых зависят наши жизни, или не доверять: мы уже фактически отдали эти функции информационным технологиям и разучились (или вообще не способны) их выполнять вручную.

К тому же многие из наиболее искушённых пользователей компьютеров почитают хакерство за высшую удачу, взламывают защиты и способны перепрограммировать систему, или хотя бы засорить её вирусом. Раньше за ошибки управления человек мог винить только себя, теперь, вследствие умысла извне или из-за случайного внутреннего сбоя работы датчика и микросхемы, может «сойти с ума» и выкинуть «чёрти что» любая микроволновка, конвейер или автомобиль. Технические недоработки или козни неприятеля раньше могли в худшем случае «подсыпать песку в коробку передач», теперь «песку» можно подсыпать и в механизмы управления. Информационные войны ныне ведутся не только за умы и сердца (о них часто говорят, но когда таких идеологических войн не было?), но также за вмешательство в управление оружием противника и ресурсами обеспечения. Эти угрозы для широкой публики не афишируются, они незаметны и безмолвны, – но тем внезапнее и сокрушительнее они могут проявиться.

Иного, гуманитарного свойства, деструкции провоцируются информационными технологиями в сфере наук. Разумеется, эти технологии являются мощным позитивным импульсом развития науки. Компьютерное моделирование и машинные расчёты быстро стали замечательно полезными инструментами, без которых уже невозможно обойтись. С их помощью сейчас не только решаются, например, математические зависимости нелинейного свойства (именно нелинейные процессы

господствуют в мире), но полученные результаты мультимедийными техниками наглядно презентуются в виде зрительных образов. Бабочка как аттрактор Лоренца стал эмблемой синергетики. Цифра и математический символ, множество расчётных сценариев могут быть представлены картинками причудливых узоров, которые, например, мы можем с интересом рассматривать в книге «Фрактальная геометрия природы» Бенуа Мандельбро. Примечательно, что всякое последующее увеличение масштаба фрагмента изображения открывает в глубине всё новые узоры, и ни один из них не повторяет прежних. Мир устроен сложнее, чем считалось прежде, и теперь благодаря компьютерным расчётам и графике это можно просто увидеть.

Словом, польза информационных технологий очевидна и бесспорна. Однако далеко не лишне обратить внимание на некоторые их негативные последствия, которые к концу второй половины прошлого века стали основательно подтачивать фундаментальные опоры институционального здания науки. Об одной из таких угроз гуманитарного свойства и пойдёт речь ниже. Атаке подвергся этос науки – её институциональная сторона, обращённая к этике взаимоотношений учёных, к этике их профессионального поведения.

Этос науки: универсальные нормы и патологические амбивалентности?

Как и всякая сфера культуры, этос науки никогда не соответствовал идеалам безупречности и совершенства. Учёные – отнюдь не ангелы и вместе со всеми людьми несут в себе обычные пороки и добродетели. Свою профессиональную сферу они во все времена самокритично характеризовали, например, наличием несправедливого противодействия новым идеям, вызванным чувством зависти. Известно, что обсуждения приоритетов открытий зачастую весьма далеки от академического стиля и неоднократно превращались в ожесточённые и язвительные споры. Учёные, что нередко наблюдается, склонны переоценивать собственные достижения, переступают через скромность и пытаются внушить своим коллегам и общественности, что принадлежат к плеяде великих исследователей. Новые, действительно прогрессивные «дисциплинарные матрицы» вытесняют предшествующие, как показал Т. Кун, лишь с уходом из жизни старой гвардии. Прибавить что-либо по-настоящему новое в известную картину мира очень нелегко, и поэтому новизна сплошь и рядом имитируется. Хотя важно, следуя Сократу, откровенно признать то, что ещё неизвестно, а не маскировать затруднений. Многие же утаивают реальную сложность нерешённых проблем, а скудость собственной мысли скрывают за обилием цитат. На основе нескольких книг они составляют ещё одну, почти ничего к уже имеющимся не прибавляющую. В тех счастливых случаях, когда использованные таким образом работы содержали стоящую идею, плагиат имеет результатом реферат, в котором «открыт велосипед». Как говорил академик Наан, плохие научные работы науки не портят, – ибо, если бы это было так, от науки давно ничего бы не осталось.

Подобные *темы этоса науки* издавна ставились самими учёными, обсуждались историками и философами науки. Близкая к приведенному их перечню номенклатура тем, например, содержится и комментируется в книге Е.И. Регирера [12, 51-74]. Аналитические же результаты обсуждения тем этоса науки представлены в работах Роберта Мертона.

В 1942 году исследователь (что в философии науки было доброжелательно принято и впоследствии дополнено) свёл этос к четырём широко известным, чуть ли не каноническим нормам: «универсализма», «коллективизма», «бескорыстия» и «организованного скептицизма». Этим нормам автором был придан

высокий статус «должного» – универсальных требований к учёным со стороны функциональной рациональности науки как социального института. Однако должное (то, как следует поступать учёным) и сущее (то, как они реально поступают) упрямо не сходились. За пределами строгой и ясной, но чересчур абстрактной деонтологии «классического этоса науки» оставались переменчивые и смутные мотивы реального разношёрстного поведения.

Поэтому Р. Мертон через два десятилетия пришёл к идее амбивалентности императивов и сформулировал девять их пар, в каждой из которых действуют противоположно направленные ориентиры. В этом он следовал, полагаю, установлениям обычной и умудрённой опытом житейской практике, которая выражена в таких поговорках, как «торопись, но не спеши» или «доверяй, но проверяй». Согласно одной из мертоновских пар, например, учёному нужно защищать новые идеи, но также воздерживаться от поддержки опрометчивых выводов. Ну, и кто этого не знает или кто, кроме глупых или подлых людей, думает иначе? Другое дело, сделать это нелегко. Но как этому способствует амбивалентные нормы? Ими, действительно, проблемы ставятся, но никак не решаются. Подобно поговоркам, амбивалентные регуляторы столь же бесспорны и полезны, но и столь же банальны. Они просто пополняют или варьируют традиционную номенклатуру тематики этоса науки, вполне в неё вписываясь.

Примечательно, что причину возникновения амбивалентных регулятивов поведения Р. Мертон находит в изъяне отступления поведения учёных от четырёх обязательных норм должного. Поэтому, мол, амбивалентные нормы и являются «патологией науки». Насколько уместна, однако, жёсткая оппозиция нормы и патологии в сфере этики?

Норма как «правило» и как «максима»

Мне представляется, прежде всего, некорректным широко распространённое сведение нормы – к правилу, как это наблюдается в работах как критиков Р. Мертона, так и его последователей. Во многих случаях в культурах (и особенно в этике) норма задана вовсе не в качестве *правила*, не выполнять которое запрещено, а в виде *максимы*. В отличие от правила к максиме, как к идеалу, следует только стремиться, но она невыполнима как абсолют – везде и всегда. «Не лги» – это не правило, а максима, предполагающая ситуации вынужденных и оправданных временных отклонений от неё. Нормы же дорожного движения заданы именно правилами, хотя и здесь они специфицируются, например, для пожарных автомобилей и экипажей скорой помощи. Даже норма в формах правила задана не единственным состоянием, а некоторым их, пусть узким и резко очерченным, диапазоном.

Пространство нормы как правила строго ограничено «частоколом» *запретов*, а её внутреннее ядро составлено *предписаниями*. Между предписаниями, исполнять которые обязательно, и «забором» запретов, за который выходить нельзя, и расположена зона *разрешённого* поведения. Там, в границах нормы, остаётся свобода поступать по собственному усмотрению, возможность ситуативного поведения – ибо всего предписаниями предусмотреть невозможно. Чем гибче, умнее и устойчивее норма – тем шире зона того, что в ней разрешено. Подобным образом устроена и максима, с тем только отличием, что частокол запретов не столь плотен, и между ними открыты «коридоры» для временного выхода за пределы нормы с непременным и скорым, однако, в неё возвращением.

Норма (за редчайшими исключениями), таким образом, никогда не задана её единственным состоянием, отклонение от которого можно было бы считать патологией. Нормальная психика, конечно,

отличается от патологической, но её возможные состояния (акцентуации) варьируются на огромном приемлемом диапазоне. Патология же в отношении максимы состоит отнюдь не ситуативном от неё отклонении, которое оправдано необходимостью следовать иной, столь же важной максиме, а в систематическом, скрытом или открытом её игнорировании. Р. Мертон же квалифицировал амбивалентные установки этоса науки в качестве «патологии», вывел их за пространство негибкой «нормы» и тем самым щедро удобрил почву для критики всей классической концепции этоса науки.

Спор об изменчивости и постоянстве норм в науке

За последние четыре десятилетия несомненное преобладание получили релятивистские представления о кардинальной изменчивости регулятивов в науке. Согласно модным идеям коммуникативной рациональности, нормы – лишь продукт временного согласия, дедукцию как научный метод фактически заменяет аргументация, а истинность законов – не более чем их правдоподобие. Ныне хорошим тоном полагается отказ от построения моделей абстрактной методологии мертоновского типа в пользу ситуативных исследований типа case study. В интерпретативной социологии науки ей вообще был вынесен «смертный приговор». А как же инварианты, неужто их и вовсе нет? Даже такого, который ещё Платон в спорах с софистами отстаивал, возражая против замены постижения истины поиском правдоподобия?

Р. Мертон стягивает норму «бескорыстия» до предписания профессионального поведения, согласно которому учёный не должен иметь никаких иных интересов, кроме постижения истины. Так он отстаивает важнейший для науки регулятив, но вместе с этим, увы, делает его легко уязвимой мишенью критики. К реальному человеку, а не к его тощей абстракции это предписание попросту неприменимо: где кто-либо встречал живого человека с таким ампутированным кругом интересов?! И в чисто профессиональной сфере реальный учёный принуждается жёсткой конкретикой социокультурных условий к заинтересованному поиску технологического, финансового, административного, кадрового и прочего обеспечения, нужного для исследований. Большая часть общества к поискам истины «умниками» и «грамотеями» относится равнодушно, а некоторая часть им даже препятствует. Право и возможность искать истину ещё надо уметь заслужить и отстаивать!

Иное дело, что стремление к истине является стержневой *максимой* этоса науки (бескорыстие, как более широкое понятие, мне представляется в этом контексте менее подходящим). Настойчивое следование поиску истине, конечно, не отменяет и не исключает иных интересов учёного, которые в нужные моменты способны на какое-то время выйти на первый план.

Стержневой характер данного регулятива для этики науки в начале 70-х годов был несомненен, например, для науковед П.А. Рачкова, который цитирует в этой связи пять основных принципа академика А.Д. Александрова [11, 179]:

1. «Ищи истину и не затмевай своего сознания предвзятыми мнениями, авторитетами и личными соображениями.
2. Доказывай, а не только утверждай.
3. То, что доказано, принимай и не искажай, а отстаивай.
4. Не будь фанатиком...
5. Истина утверждается доказательством, а не силой...».

В начале же XXI века для многих исследователей науки этот былой классический приоритет утрачен. Высказывается, например, мнение о том, что нормы Мертона скорее провозглашаются, чем выполняются, причём «наименее реалистичной» остаётся именно норма «бескорыстности» [8, 23-24]. Или в описании этоса даже классической дисциплинарной матрицы «преобладающей ценностью» полагается «устранение всего субъективного, произвольного, случайного», стыдливо замещающего волей автора прежде гордое понятие истины, которое уже прямо заменено в авторской трактовке «неклассической» науки на «контингентное согласие», и затем вовсе изъято из описания матрицы «постнеклассической» науки [5, 44-51]. В итоге наука оказывается, по выражению этого же автора во вступительной статье этой книги, в «паритетном» отношении с любыми формами знания – архаическим и эзотерическим, обыденным и религиозным. Да не равноценны они, не равны – иначе и науке незачем было бы возникать, а лишь дополнительные! В этом направлении дискредитации основ науки Ричард Рорти, среди многих других философов, идёт дальше и глубже, обесмысливая саму возможность постановки вопроса об истине в связи с «кончиной эпистемологии», некорректностью «противопоставлений» объекта – субъекту и отменой любых «сдерживающих» исследование правил [14, 233].

К счастью, представители конкретных наук редко к подобным спекуляциям прислушиваются. Обнадёживает также, что недавнее увлечение релятивистскими и герменевтическими моделями этоса науки, идеями постмодернизма и риторическими приёмами аргументации коммуникативной рациональности сменяет более сдержанное и взвешенное к ним отношение. Как справедливо отмечает А.П. Огурцов, в философии науки теперь начинается «новый круг – возврата к идее универсальности» [9, 77]. О стержневой, по моему мнению, универсальной максиме этоса науки и пойдёт речь дальше.

Честность как предпосылка этоса науки

Полагаю, к числу важнейших качеств учёного относится честность. Её, понятно, совершенно недостаточно, чтобы таковым быть, но честность составляет необходимую предпосылку, без которой невозможно легитимно присоединиться к научному сообществу. Ибо каждый честный человек, по меньшей мере, искренне защищает то, что он считает правдой. А тот, кто представляет науку, не только не лукавит со своей правдой, но также понимает, что у его оппонентов есть их иные правды, а за всеми этими многими правдами лежит единственная истина. Честность, в итоге, учёному нужна, чтобы открывать пути к истине среди хитросплетений правд.

К сожалению, после К.А. Тимирязева, который в 1949 году прямо и ясно писал о правдивости учёного как о нравственном качестве, господствующим над всеми его прочими умственными качествами [11, 179], эта идея за полвека утратила приоритет. В современном дискурсе этоса науки говорить о правдивости как-то не принято – попробуйте вообще отыскать там это слово! Однако тонкие и нередко действительно важные коммуникативные этические ситуации, распутываемые сегодня в дискурсах, вследствие игнорирования приоритетов честности и правды утратили нужное и прочное основание.

Ведь правду люди не слишком часто хотят слышать и редко высказывают. Она, действительно, «глаза колет», её не любят и боятся. Правдолюбец, который «напрямую правду-матку режет», – во всех культурах фигура редкостная и маргинальная, сродни шуту или палачу. Он – исключение, а не правило. К тому же правдолюбцы, увлечённые своей правдой, зачастую её отстаивают с фанатичной резкостью. В пылкой их бескомпромиссности иногда сгорает всякое неудобное и смутное предположение о

существовании какой-то иной правды, отличной от собственной. Они тогда деликатны как отбойный молоток, а гибкости и дипломатичности в них столько же, как в дорожном катке. Но люди обидчивы и мстительны. Поэтому там, где появились фанатичные правдолюбцы, – жди схватки и репрессий проигравших. А если правдолюбцы и вполне толерантны, – то, всё равно, жди конфликта. Разве когда-нибудь отстаивать правду было лёгким и простым делом? В жизни честность, увы, прагматически невыгодна, конформистам живётся спокойнее. Интрига и «камень за пазухой» на практике предпочтительнее открытого забрала и честного поединка.

Любое реальное событие, как это хорошо известно специалистам логики и семиотики, «окутано» оценочной и интерпретативной оболочкой многих разных правд. Иногда они счастливо дополняют друг друга, иногда – жёстко противостоят. Казалось бы, информационные технологии могли бы способствовать упорядочению этой оболочки, помочь распутать хитросплетения правд. На то информация и нужна, чтобы выявить дезинформацию (ложь, заблуждения и всякие неточности) и так поддержать или дискредитировать некоторые правды, помочь правильно поставить проблемы и избавиться от псевдопроблем. Но для этого, прежде всего, необходимо уметь и хотеть твёрдо отличать само реальное событие от того, что о нём говорят и как его оценивают.

Непременное это условие (подвергнутое в философии науки тщательной рефлексии и известное там как проблема отделения научного факта от его интерпретаций), однако, в современной мультимедийной практике полностью игнорируется. Без ложной скромности журналисты именуют себя «нюсмейкерами», то есть делающими новости. Так что же является новостью – происшедшее событие или репортаж о нём? Реальный статус «Его Величества События» высокомерными нюсмейкерами беспардонно снижен до «информационного повода», они знают и продают лишь собственные интерпретации событий. Но так дезинформация легко проникает в событие и становится его компонентом. Информационные программы без ложной скромности зачастую называются по фамилии телеведущего с прибавлением слова «жизнь» (например, «Шустер-лайф»). Оставим в стороне вопрос о том, достойна ли жизнь подобных журналистов внимания миллионов и стоят ли их имена права на бренд. Важно то, что жизнь такого отдельного человека, его восприятие события и организация им обсуждения события парадоксально выпячены на первый план и заслоняют само событие. Король события позади, и его ещё надо умудриться разглядеть за важно шествующей свитой и всякой челядью.

В этом конформистская интрига и состоит: сделать короля события невидимкой (или хотя бы его одежды) с тем, чтобы с выгодой для себя одеть его в то, что закажут. Сказка о голом короле и хитром портном выражает суть стратегии нюсмейкеров. Теперь, согласно Андерсену, чтобы увидеть правду и бесхитростно о ней во всеуслышание заявить, требуются непосредственность и непредубеждённость ребёнка.

Ибо без правды всё-таки не обойтись! В решающие моменты жизни именно правда имеет решающее значение, и тогда прежде «спрятанные за пазухой камни» извлекаются на свет и пускаются в дело. Выяснение отношений всегда даётся нелегко, но очищает их от накопленной паутины недомолвок и лжи. Нарыв нужно вовремя вскрыть, чтобы вернуть в жизнь искренность и уметь смотреть правде в глаза. Тогда в отношения возвращается свежесть и спокойная простота жизни по правде. Выяснение отношений, увы, способно привести и катастрофическим разрушениям былого порядка, – но и тогда на руинах

восходят ростки правды, хотя теперь и новой.

Возможно потому, что для всякого человека своя правда так важна и так ценна, он предпочитает её утаивать. Её, мол, нужно сберечь и обезопасить, упрятать в оболочку – такую, чтобы она оттуда могла быть выхвачена, когда это нужно, с решительностью и блеском сабли из ножен, но оболочку твёрдую и непроницаемую для атак извне и праздного любопытствующего глаза.

Но оберегаем то мы всегда слабое и незащищённое, тогда как сильное способно защитить себя само! Распространённая стратегия утаивания своей правды, с сожалением приходится признать, основана на безотчётном признании её слабости. Сильное не нуждается в защитной скорлупе. Так, недооценивая себя (ведь моя правда – это и есть я), человек уклоняется от правды, и чем больше он её избегает, тем меньше ценит себя. Боязнь правды – это страх собственной несостоятельности. Правдолюбие и личностный рост в данном контексте не просто коррелируют, но скорее синонимичны. Традиционно маргинальное положение правдолюбцев во всех известных обществах может служить операциональным индикатором распространённости невротизма. В так называемом информационном обществе впору говорить о его засилье.

Среди тех немногих правдолюбцев, которые способны толерантно отнестись к иным (чем своя) правдам, социокультурными процессами и отбираются люди, которые формируют ядро научного сообщества. Параметры, характеризующие условия этого отбора, разнообразны и многочисленны: среди них – и образованность, и развитость интеллекта, воображения или интуиции, и трудолюбие, настойчивость и целеустремлённость, и многие многие другие. Продуктивность креативного поиска в реальной истории культур поддержана открытым, по сути, диапазоном условий и личностных качеств, вплоть до экзотических привычек творцов или их загадочной удачливости.

Тем заметнее их асимметрия в сравнении с узостью диапазона *предпосылок* отбора: главным и, возможно, единственным критерием здесь является признание существования истины, причём в качестве высшей ценности науки. Требуется мужество быть честным наедине с собой и другими в ответе на главный вопрос – *а действительно ли то, что ты сделал, является некоторым шагом в верном направлении, ведущим к постижению истины?*

Как преодолеть игольное ушко пропуска в науку: способы и уловки деформации предпосылки

Сквозь игольное ушко этой предпосылки пройти в науку, а затем оставаться в ней (поскольку данный вопрос следует ставить перед собой вновь и вновь) не менее сложно, нежели верблюду и толстосуму – в царствие небесное. Между тем безотлагательная потребность в научных кадрах вынуждает таможенников, приставленных к «ушку», смягчать и портить главную предпосылку: ведь каких-нибудь «верблюдов» всё же нужно набрать. Наиболее радикальной из её деформаций являются настойчивые попытки полной отмены «пропускного пункта» представителями доктрин, провозглашающих отсутствие истины. Постмодернистская «таможня даёт добро» всякому верблюду! Когда истин нет, всё можно, всё одинаково верно и неверно, и всякий дискурс – лишь игра и скрытое цитирование. Сырые компиляции и беззастенчивый плагиат становятся столь же нормальными, как порождённые воображением самые развязные фантазии (скудоумные ли, или дикие) при полнейшем игнорировании процедур их эмпирической интерпретации, при забвении или игнорировании ранее установленных фактов. Носители этой идеологии, как правило, не проникают в ядро науки, но ныне основательно отравляют её периферию.

Особенно пострадало от этой идеологии «информационного общества» гуманитарное знание. Украинские историки, например, разошлись на враждующие партии, верные полярным оценкам одних и тех же фактов. Начитанные литературоведы, как будто потеряв сложившиеся веками критерии отличия хорошего текста от посредственного, поднимают, прозу Марии Матиос чуть ли не до уровня шедевра и рекомендуют её для школьных программ. Многие философы (мало того, что придумали постмодернизм) без признаков стеснения игнорируют общенаучную картину мира в качестве второстепенной «онтики», равнодушны и невежественны в вопросах естествознания. В современной психологии ныне затруднительно провести границу, разделяющую науку и паранаучные домыслы. Психотерапию, как и педагогику, пока правильнее вообще проводить по ведомству искусства, но отнюдь не науки (ненаучная медицина в подобном случае вежливо, но без лукавства именуется «народной»).

Другой, менее радикальный способ деформировать предпосылочное пропускное правило состоит в заметном облегчении груза компетентности, с которым соискатель то и дело подступает к «ушку». Чем меньше человек знает, тем с большей уверенностью он способен искренне считать, что внёс заметный и конструктивный вклад в науку. Таких часто называют графоманами; многие, однако, осторожнее и умнее: «отсебятины» избегают и старательно комбинируют банальности (иногда, кстати, составляя вполне полезные тексты для популяризации и обучения). Не обременённые избыточным грузом знаний и проблем, остро потребных на фронтах наступления науки в области неизведанного, они всякий раз подходят к «ушку» столь «тощими», что легко сквозь него проникают. А там старательно и щедро засевают поле науки похожими на себя последователями согласно старому присловию – «учёным можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан». Заметная часть вакансий, таким образом, оказывается занятой вовсе не теми, кто действительно продвигает науку, а теми, кто это успешно имитирует. Для таких имитаторов как нельзя лучше подходит циничное истолкование истины одним из персонажей романа «Шантарам» Грегори Робертса: «истина – это задира, который ко всем пристаёт, и все притворяются, что им это нравится» [5, 67].

Особую ловкость, энергию и настойчивость графоманы и притворы проявляют в пиаре своей деятельности, в достижении знаков известности и символов признания – всяческих званий, наград и прочих свидетельств успеха. Они не ведают, что такое скромность и охотно присоединяются к её оценке политиками (напомню, как пути в неизвестность). «Быть» и «слыть» для них – одно и то же, имитация – вовсе не подделка, но равна подлинности. На вопрос «что нового Вы сделали в науке?» они отвечают перечнем знаков успеха и общественного признания: создал школу, написал бестселлер, руковожу проектами, являюсь лауреатом конкурсов и премий, имею звания и т.д. В их персональных страничках, SV подобные перечни занимают множество строк, где ничто не забыто, и составляются трепетно и тщательно. Объём саморекламы почти безошибочно указывает на принадлежность её автора к клану имитаторов. К счастью, за всем этим иногда всё же обнаруживаются некоторые реальные научные результаты.

Стоит ли удивляться, что с развитием информационных технологий общее число людей, которые, как считается, занимаются наукой, а также объёмы ассигнований на научные исследования растут гораздо быстрее, чем прирастают результаты. Строгие данные наукометрии свидетельствуют, что персонал и инвестиции увеличиваются в геометрической прогрессии (а несколько ранее – вообще по экспоненте), тогда как для моделирования тренда результативности скорее подходит прогрессия арифметическая.

Веский балласт графоманов и имитаторов науки заметно снижает коэффициент её полезного действия. На весах общего баланса несомненную продуктивность информационных технологий пока, увы, парадоксально перевешивает облегчённая совесть.

Выводы

- Процессы вовлечения инновации в культуру характерны тремя стадиями: первая сопряжена с равнодушием к инновации или с её позитивной оценкой, на второй выявляются масштабы вызываемых этой инновацией культурных деструкций, на третьей культура ассимилирует инновацию и обретает новую конфигурацию и стабильность.

- Резко возросшая со II-ой половины XX века скорость прироста и внедрения новаций оставляет меньше времени для профилактики вызываемых ими деструкций и снижения рисков.

- Идеологией переживаемого в настоящее время второго этапа вовлечения в культуру информационных технологий, к сожалению, в основном пока остаётся постмодернизм.

- К культурным деструкциям технологий оцифровки следует отнести: онтологические спекуляции; маргинализацию чтения, письма и рост вторичной безграмотности; девальвацию вербального мышления, слова и термина.

- Во всемирной сети отсутствуют механизмы разделения информации и дезинформации, цели её пользователей нередко состоят в манипулировании и противоположны декларируемым идеалам информирования.

- Информационный продукт всё совершеннее подменяет собой представляемую и имитируемую им реальность, информационное общество поражено боязнью правды и засильем конформизма, рефлексия и аналитика вытесняются образами и эмоциями, флешмобом и нерегулируемым правом на самовыражение.

- Появились и резко растут риски кибердиверсий.

- Гуманитарная предпосылка работы учёного, состоящая в его честности, толерантности к разнообразию правд и в стремлении к истине, ныне недопустимо смягчается или отвергается господствующей идеологией информационных технологий.

- От наших способностей не поддаться слепой увлечённости модной инновацией, вовремя разглядеть таящиеся в ней деструктивные для культуры начала во многом зависят масштабы и последствия тех нежелательных перемен, к которым мы могли быть подготовлены, чтобы принять упреждающие или смягчающие меры.

Литература

1. Будагов Р.А. История слов в истории общества / Р.А. Будагов. – М.: Просвещение, 1971. – 270 с.
2. Веллер М. Всё о жизни / Михаил Веллер. М.: Издательство АСТ, 2008. – 751 с.
3. Гибсон У. Распознавание образов. / Уильям Гибсон. Пер. с англ. – М.: АСТ: Ермак, 2005. – 381 с.
4. Деррида Ж. О грамматологии / Жак Деррида. Пер. с фр. и вступ. статья Н.С. Автономовой. – М.: Ad Marginem, 2000. – 511 с.
5. Киященко Л.П. Этнос постнеклассической науки (к постановке проблемы) // Философия науки. – Вып. 11: Этнос науки на рубеже веков. М.: 2005. С. 29-53.
6. Корнев С. «Сетевая литература» и завершение постмодерна // Новое литературное обозрение №32 (4/1998). – С. 29-47.
7. Марков Б.В. Коммуникация и глобализация // Вызовы глобализации в начале XXI века. Материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 14-15 апреля 2006 года). Часть I. – СПб.: БГТУ, СЗАГС, 2006. С. 109-127
8. Мирская Е.З. Р.К. Мертон и этос классической науки // Философия науки. – Вып. 11: Этнос науки на рубеже веков. М.: 2005. С. 11-28.
9. Огурцов А.П. От нормативного Разума к коммуникативной рациональности // Философия науки. – Вып. 11: Этнос

науки на рубеже веков. М.: 2005. С. 54-81.

10. Рабинович В.Л. Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух / Вадим Рабинович. – М.: Книга, 1991. – 496 с.
11. Рачков П.А. Науковедение: проблемы, структура, элементы / П.А. Рачков. – М.: Издательство Московского ун-та, 1974. – 242 с.
12. Регирер Е.И. О профессии исследователя в точных науках/ Е.И. Регирер. – М.: Наука, 1966. - 166 с.
13. Робертс Г.Д. Шантарам: Роман / Грегори Дэвид Робертс. Пер. с англ. Л. Высоцкого. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. – 864 с.
14. Рорти Р. Философия и зеркало природы / Ричард Рорти. Пер. с англ. В.В. Целищева. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. – 320 с.
15. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Фрэнк Уэбстер. Пер с англ. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400 с.
16. Фернандес-Арместо Ф. Цивилизации / Фелипе Фернандес-Арместо. Пер с англ. Д. Арсеньева, О. Колесникова. – М.: Издательство АСТ, АСТ МОСКВА, 2009. – 764 с.
17. Шмидт Э., Коэн Дж. Новый цифровой мир: как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятия государств / Эрик Шмидт, Джаред Коэн. Пер. с англ., издание и оформл. – ООО «Манн, Иванов и Фарбер», 2013. – 588 с. [электронная версия подготовлена компанией ЛитРес, www.litres.ru].
18. Ямпольский М. Интернет, или постархивное сознание // Новое литературное обозрение №32 (4/1998). – С. 15-28.